

Vyšlo ve francouzštině:

Ivo Pospíšil: Double Réfraction. La mort de Tolstoj en Bohème et en Moravie. Revue des Études slaves, tome LXXXI (2010), fascicule 1, Tolstoï 1910. Échos. Résonances. Interprétations. S. 53-70. ISSN 0080-2557. ISBN 978-2-7204-0465-8.

Двойная рефлексия: феномен смерти Льва Толстого в Чехии и в Моравии

Иво Поспишил (Брно)

Ключевые слова

преддверие восприятия Льва Толстого в чешской среде, Л. Толстой и формирование реализма и модернизма в чешской литературе, Л. Толстой и общественная мысль и философия в культурной чешской среде, чешская реакция на смерть Льва Толстого как последствие эволюции восприятия Льва Толстого, опыт двойной проекции.

Абстракт

Автор статьи исследует феномен Льва Толстого в чешской культурной среде вообще и в связи с его смертью в особенности, пытаясь продемонстрировать, каким образом личность русского писателя и мыслителя рефлексировалась в сознании чешской культурной элиты в Чехии и в Моравии – двух частях Земель Чешской Короны, которые отличались разной глубинной традицией, и как эта рефлексия может пониматься в начале 21 века. Исходя из термина А. Н. Веселовского „встречное противодвижение“, автор старается исследовать структуру и функции воспринимающей культурной среды, отличавшейся многослойностью и плюрализмом исторически сложившихся взглядов. Статья основана на материале чешских и моравских журналов с разной культурной, политической и религиозной ориентацией.

Key Words

pre-stage of the perception of Leo Tolstoy in Czech environment, Leo Tolstoy and the formation of realism and modernism in Czech literature, Tolstoy and social thought and philosophy in Czech cultural environment, the Czech reaction on Tolstoy's death as a consequence of Tolstoy's reception, attempt at dual projection

Abstract

The author of the present article describes the phenomenon of Leo Tolstoy in the Czech cultural environment in general and in connection with his death in particular attempting to demonstrate how the personality of the Russian writer and thinker was reflected in the consciousness of the Czech cultural elite both in Bohemia and Moravia, the two parts of the Lands of the Czech Crown characterised by a different depth of tradition and how this reflection might be understood at the beginning of the 21st century. Based on Alexander Veselovsky's term „встречное противодвижение“, the article contains an attempt at the analysis of the structure and function of the perceiving cultural environment typical of its many-sidedness and plurality of the historically created opinions. The article is based on the material of Czech and Moravian periodicals of different cultural, political and religious bias.

Наша краткая статья, целью которой является продемонстрировать отзывы о смерти графа Льва Николаевича Толстого (1828-1910) в чешской культурной среде, исходит из общего положения русской литературы в упомянутой культурной атмосфере. Специальной литературы – в том числе специальной – о Льве Толстом с начала его художественной деятельности и вплоть до его кончины, в чешской прессе довольно много. Несмотря на более поздние рефлексии этого состояния в литературоведении 20 века, необходимо рискнуть и абстрагироваться от всего огромного объема этой литературы, почерпнуть эту избранную, редуцированную информацию лишь из первоисточников, подойти *ad fontes*, так что в скобках (Einklammerung) оказалось довольно много более поздних статей на эту тему.¹ Необходимо еще раз увидеть всю картину «обнаженной», не загроможденной массой представлений более поздних эпох с другой аксиологической и содержательной структурой. Этим, однако, наша цель не исчерпывается. Речь идет не о тотальном, целостном описании всевозможных рефлексий смерти великого писателя, а скорее о типологии этих отзывов в связи со значением его творчества, в зависимости от качества воспринимающей среды. Начинать, следовательно, следует не *in medias res*, а скорее с преддверия, т. е., вкратце, с формирования рецепции Льва Толстого в чешских землях – пусть это будут только фрагменты этого процесса.

В самом начале необходимо констатировать, что чешская культурная среда была

¹ Все же приводим хотя бы некоторые выбранные библиографические данные:

T. G. Masaryk: *Rusko a Evropa I-III*. Ústav T. G. M., Praha 1996. Об этом см. также наши статьи: *Fascinácia Dostojevským* (T. G. Masaryk: *Rusko a Evropa I-III*. Ústav T. G. M., Praha 1996. Рец. *Literárny týždenník*, 23. 1. 1997, 4/1997, s. 6. *Rusko a Evropa - třetí díl* (рец.). *Alternativa Nova*, 1997, č. 7, březen, s. 370-371 (T. G. Masaryk: *Rusko a Evropa*, Ústav T. G. M., Praha 1996). *Několik poznámek k Masarykovu pohledu na Rusko a ruskou literaturu* (T. G. Masaryk: *Rusko a Evropa I-III*. Ústav T. G. Masaryka, Praha 1996). *Svět literatury* 1997, 14, s. 106-109. T. G. Masaryk a literárnost ruské revoluce. In: Tomáš Garrigue Masaryk a ruské revoluce. *Sborník příspěvků z V. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně*, 19. listopadu 1997. Masarykovo muzeum v Hodoníně, Hodonín 1998, s. 5-13. T. G. Masaryk jako rusista. In: Tomáš Garrigue Masaryk a věda. *Sborník příspěvků ze VII. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně* 10. listopadu 1999. Masarykovo muzeum v Hodoníně, Hodonín 2000, s. 88-99. См. источниковедческую дипломную работу: Martin Maleček: *Lev Nikolajevič Tolstoj v českém myšlení [рукопись]: 1858-1895*. Ved. práce: Jan Zouhar. Katedra filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 1999.

Далее: T. G. Масарик и Россия. Ред. О Малевич, А. Каменская. Санкт-Петербург 1997. См. нашу рец.: *Svět literatury* 1998 (15), соавтор Miloš Zelenka. *Slavia* 1998, 67, тетрадь 4, s. 540-543. См. Julius Dolanský (Heidenreich): *Masaryk u Rusko předrevoluční*. ČSAV, Praha 1959. Тот же: *Mistři ruského realismu u nás*. *Svět sovětů*, Praha 1960. *Čtvero setkání s ruským realismem*. ČSAV, Praha 1958 (речь здесь идет не о Толстом, а о рецепции и переводах русской литературы на чешский язык других авторов в первой трети 19 века, но все-таки здесь образуется базис и фон для более глубинного понимания восприятия русской литературы в чешской культурной среде в общем). Štěpán Jan Kolafa: *K souhvězdí ruské literatury: D. Makovický u Tolstého, Čechova a Gorkého*. Univerzita Karlova, Praha 1974. Štěpán Jan Kolafa: *Lev Tolstoj a Bjørnstjerne Bjørnson ve slovenském národně obranném zápase proti maďarizaci na sklonku 19. a na počátku 20. století*. ARSCI, Praha 1997. См. также: T. A. Lisicyna: *Paradox ruské duše*. OREGO, Praha 2000, составление, комментарий и перевод III. Колафа. Š. Kolafa: *Tolstoj a Slované. Příspěvek k 170. výročí narození L. N. Tolstého a 150. výročí Slovanského sjezdu v Praze*. In: *150 let Slovanského sjezdu (1848): historie a současnost*. Národní knihovna, Praha 2000, s. 102-115.

хорошо знакома с русской литературой «золотого века». В процессе национального возрождения русская литература играла ключевую роль как вдохновитель и в смысле славянской идеологии и эстетики, этики и, в конце концов, языка. Разумеется, подготовленность чешской культурной среды в целом не была статичной и проходила определенную эволюцию. В начале рецепция русской литературы в чешской культурной среде ориентировалась скорее на ее политическое значение и на описание «экзотического» русского быта в связи со значением славянских литератур и славян как таковых. Только позднее, и постепенно, обнаруживались и этические, и эстетические ценности русской литературы, в особенности пореформенного времени.

Первооткрывателями были сами русские критики, в большинстве своем с социологической установкой, анализирующие историко-культурный контекст литературы. В конце концов, таковы были, как известно, социологические методы, подходы и приемы, на которых преимущественно основывалась концепция Александра Николаевича Пыпина (1833-1904), двоюродного брата Н. Г. Чернышевского. О его «Письмах о русской литературе», адресованным Вацлаву (Вячеславу Вячеславовичу) Ганке² нельзя сказать, что они суггерировали чешской среде единственно возможную трактовку новой русской литературы, и все же они были очень влиятельны вплоть до наступления нового поколения эстетиков и критиков. В определенном отношении Пыпин воздействовал и на восприимчивость поколения реалистов, возглавляемых Т. Г. Масариком, как мы увидим позже. Пыпин прежде всего восхищается свободой русской литературы пореформенного времени, сравнивая ее богатство с идейной пустотой литературы периода 1849-1854 гг. Темой его стилизованных писем является литература после смерти Н. В. Гоголя, т. е. постгоголевского периода, которым, как хорошо известно, занимался и его родственник Н. Г. Чернышевский. В переводе самого Вацлава Ганки на чешский язык встречаются не только неприемлемые русизмы, но и фактические ошибки или опечатки (Перовин вместо Печорин и т. д.). Среди новых писателей «реальной поэзии», т. е. реалистической литературы, Пыпин называет и графа Л. Толстого. Он высоко оценивает его «Детство», «Отрочество» и «Юность», а также «Севастополь в августе» и «Севастополь в декабре», т. е. части будущих «Севастопольских рассказов», восходящих к Крымской войне – этому не только военному, но прежде всего всеевропейскому культурному феномену. Интересно, что Пыпина заинтересовала, главным образом, литература слабосюжетная, скорее дескриптивная, описательная, этнографического уклона, в том числе С. Т. Аксаков, П. И. Мельников-Печерский (1818-1883), то есть именно то, чем русская литература резко отличалась от

² Listy o ruské literatuře Alexandra Pypina. Časopis Muzea království českého, XXXIII, с. 583-599, 1859, датировано 3 декабря 1858.

тогдашней западноевропейской традиции. Тем не менее, Л. Толстой упоминается, но лишь бегло, будто бы мимоходом.

Это стало изменяться с 80-х годов 19 века. Переводчик русской литературы, в том числе «Анны Каренины», Яромир Грубы, опубликовал к концу 70-х годов 19 века обзорную статью о новой русской романной и новеллистической литературе.³ Граф Лев Толстой упоминается в самом начале в связи с ожиданием романа «Декабристы». Одновременно Грубы запечатлел и слухи того времени, догадки и спекуляции, напоминающие бульварную прессу современности, пишущую о звездах show business, - в том числе и объяснение того, что пресловутый граф бросил работу над романом, так как пришел к выводу, что у колыбели декабристского движения стояли не русские, а французы: «Největší očekávání vzbudilo v literárních kruzích ovšem oznámení, že hrabě Lev Tolstoj, proslavený autor Anny Kareniny a Vojny a míru pracuje o novém rozsáhlém románě z dob povstání děkabristického, k němuž konal důkladná studia již po delší době a schválně se zdržoval po některý čas v Petrohradě, aby z tamějších archivů nabyl jasného světla o zajímavé té vzpouře, jež byla a částečně jest až doposud zahalena mlhovitou rouškou tajemnůstkářství. Moskevské časopisy přinesly již zprávu, že nový román bude vycházeti nejprve v nově založeném Moskevském měsíčníku Ruská mysl, když tu náhle přišlo oznámení, že hr. L. Tolstoj uprostřed své práce ustal, poněvadž nabyl nezvratného přesvědčení, že původci vzpoury dekabristické nebyli Rusové, jako se posavade za to mělo, nýbrž Francouzi, a to že se do osnovy jeho románu nehodí.»⁴ Толстому он противопоставлял новый роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», который к концу 70-х годов начал печататься в «Русском Вестнике». Грубы кратко характеризует структуру романа, подчеркивая болезненность души писателя и его психологизм.

Чехи в этот период своих первых переводов крупных романов Толстого нередко обращались к русским источникам. То, что было связано с неоконченным романом о декабристах, как известно, касалось начала творческого и духовного кризиса писателя и начала его визионерского, пророческого периода – своего рода тупика, из которого он так и не нашел выхода.

Следовательно, чешский перевод статьи Г. П. Данилевского (оригинал 1886, перевод Клара Шпецингрова)⁵ стал очень актуальным. Если принять во внимание, что очерк датирован февралем 1886 г., то становится очевидным, каким привлекательным казалось в чешской среде все, что было связано со Львом Толстым. Кажется, что это посещение Ясной Поляны и следующий за ним опубликованный очерк стали началом новой моды. Лев

³ J. Hrubý: Z ruské literatury románové a novelistické. In: Osvěta, IX, 1879, s. 614-619.

⁴ Там же, с. 614.

⁵ G. P. Danilevskij: Návštěva Jasně Poljany (Statek hraběte Lva N. Tolstého). Slovanský sborník, VI, 1886, с. 8-11, 403-406, 449-452, 502-505.

Толстой, колющий дрова, занимающийся физическим трудом на поле, говорящий с мужиками и бабами в своей деревне, философствующий на тему материальных благ и духовной жизни.

Тем не менее, чехи прибегали не только к русскому посредничеству. Большой популярностью, как и всюду, пользовался нашумевший тогда «Русский роман» Мельхиора де Вогюэ⁶. Сразу же после парижской публикации выходит в свет отзыв Т. Г. Масарика в известном журнале «Атенеум».⁷ Масарик высоко оценивает понимание автором русской литературы как духовной, ибо по одной суре Корана конец мира наступит тогда, когда одна душа больше не сможет ничего сделать для другой души. Следовательно, для французской литературы русская представляет собой приток свежей крови, и прежде всего русский роман. Тем не менее, Масарик относится к авторской концепции, а именно к знанию русского прошлого, критически: «Zdá se nám, že nedosti správně ocenil starší dobu byzantinismu a doby nápodoby, pro které mu teprve, asi od 50. let, nastává doba nové literatury. Objektivný rozbor starší ruské literatury ukáže, že velikolepá moderná literatura dobou starší do značné míry je podmíněna a nový ruský roman nepovstal najednou a jako by zázračně v době nové.»⁸ Здесь встречается новая черта критики русской литературы и книг о русской литературе. Автор использует русскую литературу, чтобы в роли философского реалиста подвергнуть критике, прежде всего, отечественную литературу и ее недостатки, ее ничтожество. Становится ясным, что молодой критик утрирует, преувеличивает, гипертрофирует свою критику; тем не менее, она становится ядром его рецензии; призывая к переводу книги Вогюэ на чешский язык и советуя устранить некоторые промахи в библиографии, он пишет: «Poučila by snad i dotyčné kruhy, že naše sbědovaná literatura, až na velmi skrovníčké výjimky, prosáklá francouzským a německým duchem, v ruské literatuře musí hledati, co posud nenašla.»⁹ Одновременно, Масарик как философ критикует то, что Вогюэ не понял славянской философии, которую он в русском романе сводит к так называемому нигилизму. И именно в связи с Толстым он указывает на философскую сложность и глубину: «...tak n. př. vidí-li v Tolstém představitele nihilismu jakožto výronu národního ducha ruského, obáváme se, že svěsti se dal zpovědí Tolstého, ve které se tento přiznává, že do poslední doby byl nihilistou: avšak právě tato zpověď poučuje nás, že nihilism ruský je zjev časový a že není samým duchem ruským, slovanským. De Vogüé proto nedosti jasně analyzuje právě u Tolstého ‚pantheism‘, ‚pessimism‘ a ‚mysticism‘, které vidí s ‚nihilismem‘ spojeny. Všecky tyto pojmy jsou tak mnohoznačny a mnohoobsažny, že k náležité charakteristice básnických individualit téměř se

⁶ M. de Vogüé: Le Roman russe. Plon, Paris 1886.

⁷ Vicomte E. M. de Vogüé: Le Roman russe. Paris 1886. Athenaeum, IV, 1886-1887, с. 296-297, под шифром aa.

⁸ Там же, с. 296.

⁹ Там же, с. 297.

nehodí.»¹⁰ Изложение Масариком книги французского дипломата и знатока русской литературы имеет ключевое методологическое значение и примечательно в разных контекстах: он, прежде всего, критикуя глубину знания автором русской литературы и философии, которыми Масарик уже тогда занимался, подспудно предполагает, что именно нерусским славянам предстоит задача стать посредниками в передаче европейскому Западу и всему миру русского феномена, который они видят с расстояния, но способны понять и изнутри. Кроме того, он, таким образом, старается опровергнуть представление, зачастую до сих пор наблюдаемое в России и на Западе (т. е. в западной Европе и в США): маленьким нациям следует заниматься русской литературой лишь потому, что показать на ее рецепцию и «влияние», как ученик смотрит на своего учителя; он же, напротив, показывает активность восприминающей среды, то, что русская литература может последовательно «решать» и внутренние проблемы чешской литературы и что, таким образом, может быть оригинально, своеобразно понята.

За статьей Масарика следует перевод главы о Льве Толстом в переводе Кл. Вепржека.¹¹ Как известно, Вогюэ в этом литературном портрете анализирует в духе французского биографизма жизнь Толстого и его творчество с точки зрения тематологии и персонажей как отражения фактографии жизни писателя – главным образом, героев его романов. Несмотря на критические взгляды Масарика как оригинального комментатора, стало очевидным, что Толстой долгое время воспринимался в чешской среде сквозь призму «Русского романа» Вогюэ, что обнаруживается частично и парадоксально в поколении чешских критиков, апостолов модернизма (Ф. Кс. Шальда).

На рубеже 1885-86 гг. появился оригинальный чешский отзыв, критическая статья о Льве Толстом, автором которого был переводчик и критик Павел Дурдик.¹² Он, разумеется, и под воздействием тех, кто писал о Толстом до этого и которых он упоминает, включая и де Вогюэ, выделяет Толстого как современного творца нравственных идей, но одновременно с этим и как изобретателя литературной формы и жанра. «Война и мир» для него не только роман, но и двойная проекция романа и исторического образа, эпос нового времени, который сознательно делимитируется из французского романического маньеризма. Кроме того, он подчеркивает сопряжение жизни и искусства, поведения и философии, роль художественной детали; так что можно подытожить, что в статье Дурдика сосредоточены все существенные вопросы и нашумевшие темы толстоведения вообще. В заключение Дурдик демонстрирует рецепцию Толстого в западной Европе: англичане уважают

¹⁰ Там же, с. 297.

¹¹ Lev Nikolajevič Tolstoj. Ze spisu E. M. Vogüé «Ruský román» překl. Kl. Vepřek. Literární listy, IX, 1887-88, номера 13-24.

¹² P. Durdík: Lev Nikolajevič Tolstoj. Zlatá Praha, III., 1885-86, с. 43-47.

религиозные сочинения русского графа, переводят все и даже в рамках официальной церкви подражают Толстому. Соглашаясь с де Вогюэ, что русский реализм намного глубже французского, Дурдик особо оценивает сдержанность и лаконичность Льва Толстого именно в нравственном отношении, в отличие от французских реалистов и, главным образом, натуралистов. Он называет его «стыдливым реалистом»: „I při líčení hnusnosti a mrzkého kalu zachovává Tolstoj, rovněž jako Turgeněv, vždy slušnost', kráčí přes bláto, ale nikdy se v něm nehraje; jeť rozhodný, avšak stydlivý realista.“¹³ Врач, доктор медицины, Павел Дурдик еще раз возвращается к теме русской литературы и ее восприятия за границей в оригинальном обзоре, в котором ключевое место занимает опять-таки Лев Толстой наряду с Достоевским, Гоголем и другими; он перечисляет переводы его произведений на западноевропейские языки.¹⁴

Если в начале процесса восприятия творчества Льва Толстого речь идет прежде всего об особом экзотизме, поразительной специфике русской литературы „золотого века“, то позже, к концу 19 века, и в связи с наступлением модернизма и новых поколений Толстой все чаще воспринимается как мыслитель, философ, религиозный деятель, пророк, визионер, творчество и мысли которого постепенно становятся особой частью всеобщего философского дискурса о человеке и мире. С одной стороны, выразительной личностью европейского мышления считают его чешские реалисты, выражающие свои мнения, прежде всего, в журнале „Час“ (по-русски „Время“), а также на страницах других периодических изданий.

Один из представителей поколения реалистов Я. Голл, отстаивающий наряду с Я. Гебауэром и Т. Г. Масариком научную правду реалистов, связанную с их убеждением, что известные чешские мнимо раннесредневековые рукописи Зеленогорская и Краловедворская – подделки (интересно, что они не сомневались в подлинности „Слова о полку Игореве“, считая его подлинность почти аксиоматичной), комментирует „религию“ Льва Толстого и приходит к выводу, что это своеобразная философия на христианской основе для христиан и нехристиан. Разумеется, нельзя игнорировать и последствия утопии Толстого, связанные с его ожиданием исчезновения государства и церковей, ликвидации войн и т. д. В самом конце Голл упоминает и известную связь толстовства с философией П. Хельчицкого; эту связь сам Толстой долгое время отрицал; кажется, его ознакомление с деятельностью Хельчицкого получило серьезные доказательства лишь в последнее время, в связи с упоминанием толстовского издания книжки о Яне Гусе в смысле его православной ориентации – эта тема, ставшая важной в учении славянофилов, имеет все-таки рациональную основу, хотя не столь

¹³ Там же, 1886, с. 739.

¹⁴ P. Durdík: Úspěchy ruské literatury v západní Evropě. Světozor 1885-186, номера – 24-37.

прямолинейную.

Известный чешский мыслитель второй половины 20 века Губерт Гордон Шауэр (Hubert Gordon Schauer, 1862-1892), не подчиняющийся авторитетам ученик Т. Г. Масарика, автор провокационного размышления „*Наши два вопроса: Что является задачей нашей нации? Каково наше национальное существование?*“ (*Naše dvě otázky: Co jest úkolem našeho národa? Jaká je naše národní existence?*, первый номер журнала „Час“, 20 декабря 1886 г.), в котором выражено его скептическое отношение к уровню чешской национальной и культурной жизни в связи с необходимостью перенести чешскую литературу в сферу всемирной литературы; он включил русскую литературу и русский роман, в особенности Толстого, в свои контемплиции „О природе идейного кризиса нашего времени.“¹⁵ Шауэр исходит из анализа доминантных течений европейской философии, начиная с немецкой классики, в особенности Гегеля, и анализирует, главным образом, идейные комплексы позитивизма/реализма и философию воли А. Шопенгауэра, доказывая, что чешская мысль не дошла до этих вершин, что ей еще предстоит многому учиться. В то время как позитивизм является наследником европейского философского рационализма со времен Просвещения, новые течения сомневаются в силе разума, проявляя скорее скепсис по отношению к рационалистическому оптимизму. Свидетельством кризиса рационализма является и реалистическая и натуралистическая литература, в том числе и французская и английская, и еще больше – русская. В этом смысле Шауэр заимствовал воззрения де Вогюэ о нигилистическом направлении нового русского романа; в то время как Достоевского и Гончарова он считает по существу реалистами, в Тургеневе и в Толстом он находит следы творческих инстинктов, стремящихся к темным, алогическим сторонам жизни: „*Román ruský, Dostojevský, Gončarov je podstatně realistickým, v Turgeněvu a Tolstém přichází bezvědomý tvůrčí pud k vědomí a na nich zvláště lze studovati temný, alogický, pessimistický, jedním slovem nihilistický proud intelektuální naší doby, který v obrovském, nepokojném, avšak budoucnosti plném Rusku nabývá tvarů zvláště hrozivých. V záporu vši kultury, v návratu k evangeliu, v prostém zřízení společenském, v potlačení vši reflexe a v prosté víře, v tom Tolstoj spatřuje jedinou spásu světa. Tohoto stanoviska ovšem nemůže např. Zola pochopiti, neboť je k jeho pojetí potřebí býti Rusem; avšak základní nálada mysli jeho je táž, nesplynouti jádrem svým s okolím, studovati je, při všech požitcích si uchovati volnost' ducha: práce, neúmorná práce, ‚c'est la morale' a jinak nechati svět a ‚la bêtise humaine' otáčeti se dále.*“¹⁶

Лев Толстой не перестал быть объектом интереса Г. Г. Шауэра и позже, например, в связи с выходом в свет повести „Крейцерова соната“. Шауэр наглядно показывает, что

¹⁵ H. G. Schauer: O povaze myšlenkové krise naší doby. Čas I. 1887, с. 4-6, 22-25, 51-55, 68-71, 103-107.

¹⁶ Там же, с. 69-70.

новаторство Толстого выражается и в новой художественной форме прозы à la thèse: там, где другие писатели поступают от содержания к тезису, он идет, как раз наоборот, от мысли к материалу.¹⁷

Тем не менее, чехи стремятся и к личному познанию души великого романиста. Одним из первых чешских посетителей Ясной Поляны был политик Карел Крамарж, сразу же после возникновения Чехословацкой Республики ее премьер-министр, который был связан с Россией и родственными узами. Восхищаясь в своем очерке, переполненном нефункциональными русизмами, мышлением Толстого в области социальных реформ и религии и читая его пьесу „Плоды просвещения“ в поезде на обратном пути, он тем не менее отстаивает ту же самую позицию в отношении толстовства, что и другие чехи: это интересная утопия, неосуществимая, но необходимая нам как своего рода коррективы практических шагов. В то же время он видит в Толстом и подходящую альтернативу социалистическим концепциям насильственной революции в смысле альтруизма и славянской идеи (в этом, однако, Крамарж, как и другие нерусские славяне, ошибался, так как желание было, как говорится, «отцом мысли»): „Tolstého socialné theorie nejsou tudíž posledním slovem socialné reformy – jsou jen velikolepým o ni pokusem. Nepovedou samy k cíli, ale přece Tolstoj nebude zapomenut jako socialný reformátor. [...] Socialističtí revolucionáři na západě chtějí zlepšiti jen hmotný stav nižších tříd – a proto je revoluce jimi hlásaná v posledních důsledcích pozitivná – a násilná. Nemá-li dojiti k těmto důsledkům, které konečně nezaručují také pro vždy lepší budoucnost, nýbrž snad jen zárodek nových bēd a nových zápasů, musejí poznati, že není možnou reforma socialných institucí bez nápravy v duševném a mravném životě individuí...“¹⁸

На протяжении 90-х годов чешское восприятие Льва Толстого как преддверие его итоговой оценки после его кончины сосредотачивается, прежде всего, на двух темах: на религии и ее этическом аспекте и на отношении Толстого к современному искусству и к искусству вообще. Об этом свидетельствует возрастающий интерес чешских критиков и философов, в том числе Ф. В. Крейчи (1867-1941) – литературного и театрального критика, переводчика с немецкого, французского и шведского языков на чешский, автора монографии о видных чешских поэтах и высоко оцениваемых мемуаров о чешском „fin de siècle“.¹⁹ Многие размышления о Льве Толстом касались его последнего романа „Воскресение“, его концепции искусства и отношения к религии, к православию, в том числе и отлучения Л.

¹⁷ H. G. Schauer: Kreuzerova sonata. Literární listy, XI, 1889-1890, s. 285-286.

¹⁸ Там же, с. 470.

¹⁹ F. V. Krejčí: Odpověď V. Hořínkovi. Rozhledy VIII, 1898-1899. с. 338-340. В то время как Войтех Горжинек связывает добро и красоту в одно целое (красота добрая, добро прекрасное), Ф. В. Крейчи в духе модернистских воззрений видит эти две категории как не зависящие друг от друга. Polemika состоялась по поводу идей Толстого об искусстве.

Толстого от православной церкви.²⁰ Становится очевидным, что к концу 19 века нарастает критическое отношение к Толстому и к его идеям. До этого времени чешские критики избегали прямого отрицания толстовства, хотя не умалчивали об их утопическом характере. Они относились к идеям достопочтенного графа со снисхождением и даже со своеобразным пиететом – в дальнейшем же показывают, прежде всего, внутренние противоречия его концепций и частые изменения взглядов на те же самые явления. Тем не менее, Лев Толстой и его критика нехристианского искусства, главным образом современного (т. е. в этом случае французского декаданса) воспринималась с интересом – это же касалось и его провокационных педагогических идей, опосредствованных из Ореста Миллера чешским учителем Я. Конерзой, который выражает мнение о его педагогических взглядах, подобное мнению других о его философии и эстетике/этике: его педоцентризм считается альтернативой традиционных немецких педагогических идей.²¹ Религиозных и эстетических вопросов касаются и различные заметки и отзывы.²² Интересно, что взгляды Толстого на модернистское искусство, т. е. его отрицание этих тенденций, нашли отражение в разных статьях, а также стали составной частью полемических цепей.²³

Уже тогда начинает осуществляться дихотомия чешского восприятия Толстого в смысле его двойной рефлексии по названию нашего аналитического обзора – т. е. христианско-католический образ Льва Толстого, у колыбели которого стоял моравский католический монах, священник, переводчик и автор первой чешской компилятивной истории русской литературы, Алоис Аугустин Врзал (1864-1930; его псевдоним А. Г. Стин возник как криптограмма его монастырского имени Аугустин; более подробно см. в нашей книге *Сердце литературы* – на чешском языке – и другие приводимые в ней ссылки²⁴).

Моравия является типичным примером смешения и интерференции немецкого и славянского элементов: в городе Простейов (Prosnitz) родился философ-феноменолог Эдмунд Гуссерль; в городе Фрейберг (чешский Пржибор) родился Сигмунд Фрейд; в брненском ареале (Хрлице или Туржаны) появился на свет австрийский философ-

²⁰ См. Josef Mikš: *Poslední román L. N. Tolstého*. Osvěta, XXX, с. 887-899; анонимная заметка *Tolstoj o poměru státu a církve*. Čas, V, 1891, 28, с. 445. См. также *Rozpory v Tolstého ideích*. Čas, VIII, 1894, 2, с. 23-24.

²¹ Něco o paedagogických názorech hr. Lva N. Tolstého. Dle Oresta Millera sděluje J. Koněrza. См. далее о Конерзе: J. Mandát: *Učitel Josef Koněrza, buditel českého lidu*. Žďár nad Sázavou 1967.

²² См. T. G. Masaryk: *L. Tolstoj: Ma Religion*. Athenaeum, II, 1884-1885, с. 187; *ohlas Kreutzerovy sonáty v Rusku*, Čas, V, 1891, с. 117-118. L. Tolstoj o nové literatuře. Čas, X, 1896, 42, с. 662.

²³ I. Pospíšil: *Shakespeare, Tolstoj a Orwell*. Lidová demokracie 11. 3. 1992, s. 10. Тот же: *Individualita a proud: Lev Tolstoj a ruská moderna*. In: *Problémy ruskej moderny*. Nitra 1993, с. 95-103. Тот же: *Kultivovaný český Lev Tolstoj* (Miloslav Jehlička: *Lev Tolstoj – vypravěč a vizionář*. Red. Ctirad Kučera. Ústí nad Labem 1999). *Slavica Litteraria*, X 4, 2001, с. 126-128.

²⁴ См. I. Pospíšil: *Srdce literatury*. Alois Augustin Vrzal. Brno 1993. То же: *Alois Augustin Vrzal: A Catholic Vision of Slavonic Literatures*. *Slovak Review* 1992, No. 2, s. 166-171. То же: *Alois Augustin Vrzal a jeho duchovní dědictví*. Universitas, Brno, 1992, č. 6, s. 27-30. То же: *Alois Augustin Vrzal: Koncepce a dokumenty*. SPFFBU, D 40, 1993, s. 53-62.

эмпириокритик Эрнст Мах, критикуемый в свое время с материалистических позиций В. И. Лениным; в Брно, неподалеку от Философского факультета на улице Яселска (названной именем галицийского города Ясло, под которым в годы Второй мировой войны сражалась как часть Советской Армии артиллерия Чехословацкого военного корпуса) жили почти рядом Карел Чапек (примерно год), будучи гимназистом, и свыше 25 лет австрийский писатель Роберт Музил. В нескольких шагах по направлению к историческому центру города находится здание бывшей немецкой гимназии (теперь это Факультет Музыка Художественной Академии им. Л. Яначека), в котором учился будущий первый чехословацкий президент Т. Г. Масарик (его статуя, созданная в конце 90-х годов 20 века, стоит напротив, перед зданием Медицинского факультета Университета им. Масарика, раньше это был немецкий Технический вуз). Недалеко находится бывшее кафе Bellevue, где любил сидеть поэт Ян Скацел.

Моравия как составная часть Земель Чешской Короны на протяжении 19 века проходила сложный путь развития: вследствие подъема национальной волны, принцип земли стал дополняться принципом нации и постепенно стала происходить германизация и „чехизация“ Моравии. На территории исторического королевства и маркграфства рядом жили говорящие на разных западнославянских диалектах чехи и мораване, обладавшие со времен средневековья развитой готической литературой европейского уровня, по-немецки говорящие и пишущие жители исторических земель и другие нации, среди них поляки и евреи, чаще всего тяготеющие к немецкой культуре. Несмотря на то что великий мораванин, историк литературы, стиховед и прежде всего историограф Франтишек Палацкий (1798-1876) в своей *Истории чешской нации в Чехии и в Моравии* (в некоторых изданиях по неизвестным мне причинам этот подзаголовок пропускается) публично провозгласил единство чешской нации в обеих исторических землях, существенные различия, а именно этнические, языковые и религиозные, ментальные, культурные, художественные, восходящие к природным и климатическим, даже геологическим условиям (тяготение к Северному морю в Чехии, к Средиземному морю – в Моравии) остаются до сих пор. Определенные дифференциации оставались и в процессе рецепции иностранных культур: в Моравии обнаруживалось лучшее сожителство с немцами, но с начала 20 века усиливалось и славофильское движение в виде так называемых русских кружков; оставалось более острое чутье в отношении славянского элемента в музыке, литературе, изобразительном искусстве. Нет необходимости специально выделять личность известного выходца из Силезии, жителя Брно, композитора Леоша Яначека, у которого русофильство проявлялось особенно выразительно. Моравия сохраняла и сохраняет по сей день свою культурную и идейную автономию, она является более консервативной, католической, эмоциональной,

откровенной и открытой, с определенными этическими подходами, которые, наверное, моделировали и до сих пор моделируют моравское восприятие разных культурных явлений, в том числе и русской литературы вообще, и творчества Льва Толстого в особенности.

На этом базисе произрастало творчество Алоиса Аугустина Врзала (1864-1930),²⁵ автора ряда книг и переводов из русской литературы. Он переводил в особенности периферийных авторов, не корифеев, а скорее тех, кто стоял особняком и в самой русской литературе, авторов с этическим чутьем, занимающихся религиозными и этическими, нравственными вопросами, однако переводил и рассказы Л. Толстого, Н. С. Лескова и других. Недаром он стал автором первой написанной по-чешски компилятивной истории русской литературы. Известна его богатая переписка с 22 русскими писателями. С. Вилинский²⁶ опубликовал письмо А. П. Чехова и письма В. Г. Короленко, другие опубликовал брненский русист Я. Мандат и автор настоящей статьи.²⁷

Кроме части о Л. Толстом в первой чешской, хотя и только компилятивной *Истории русской литературы* (см. выше), молодой Врзал выразил свое личное мнение по поводу последнего романа Л. Толстого *Воскресение* (1899). Одним из выдающихся органов чешской католической литературной критики, философии и теологии был журнал „Hlídka“, в котором Врзал и другие сторонники христианско-католических взглядов зачастую публиковали свои статьи и рецензии. В статье *Русская литература в 1899 году*²⁸ Врзал, кроме романа Толстого, комментирует и произведения А. П. Чехова, в том числе повесть *Дама с собачкой*. Примечательно, что Врзал не является, как могло бы показаться, по сути католическим в смысле догматизма с заранее образовавшейся ценностной иерархией.

Предпочтение он отдает чувствительным, скромным, внутренне этически и эстетически сильным произведениям. В отличие от более формально образованных чехов, например, Т. Г. Масарика, Я. Голла, Г. Г. Шауэра и др., он, напротив, сторонник более

²⁵ Его главные историко-литературные произведения: *Historie literatury ruské XIX. století dle Al. M. Skabičevského a jiných literárních historikův i kritikův upravil A. G. Stín. Šašek a Frgal, Velké Meziříčí 1891-1897, 952 c.* Alexandr Sergejevič Puškin. Jeho život a literární činnost. Hlídka 1899. Nábožensko-mravní otázky v krásném písemnictví ruském. Hlídka 1912. Přehledné dějiny nové literatury ruské. V Brně 1926.

²⁶ Vilinský: Dílo P. Augustina Vrzala. Archa, roč. XVII, Olomouc 1929, sv. 3, c. 229-238. См. также: Sergij Vilinskij an der Masaryk-Universität in Brünn: Fakten und Zusammenhänge. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 42, 1996, c. 223-230.

²⁷ См. J. Mandát, : Неизвестная автобиография А. И. Эртеля. SPFFBU, D 12, 1965, c. 215-221. Тот же: Neznámý dopis D. N. Mamína-Sibirjaka. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (SPFFBU), D 11, 1964, c. 161. Тот же: Интересное собрание автографий русских писателей. Čs. rusistika 1964, c. 167-172. Тот же: Письма В. К. Зайцева в Чехию. SPFFBU, D 15, 1968, c. 203-205. Тот же: Письма С. Гусева-Оренбургского к чешскому переводчику. SPFFBU, D 13, 1966, c. 139-144. Тот же: Потерянные письма русских писателей. SPFFBU, D 17-18, 1971, c. 247-248. Тот же: Интересное собрание автографий русских писателей. Čs. rusistika 1964, c. 167-172. I. Pospíšil, I.: Alois Augustin Vrzal: Koncepte a dokumenty. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, D 40, 1993, c. 53-62. Тот же: Dva moravští slavisté: Alois Augustin Vrzal a Sergij Grigorovič Vilinskij. Slavica Occidentalis, t. 57, Poznaň 2000, c. 219-233. Тот же: Первый моравский историк русской литературы (А. Врзал). Русский язык в центре Европы, Banská Bystrica 2001, 4, c. 56-61. Тот же: Augustin Alois Vrzal podruhé. Lidová demokracie 10.12.1991, c. 5.

²⁸ A. Vrzal: Ruská literatura v roce 1899. Hlídka, XVII, 1900, 8, n. 454-456.

мягких методов; он способен метко отзываться и о новых явлениях, тонко реагировать на модернизм, что доказывает его последняя монография 1926 г., в которой он очень точно и дифференцированно рассмотрел новые явления в русской литературе после трех революций, справедливо оценил и русскую эмиграцию, к которой отнесся, однако, критически, а новую русскую литературу связал скорее с Россией, чья литература, несмотря на большевистскую революцию, вновь вернется к классической традиции.²⁹ Врзал не любил жестких подходов, литературно-эстетических и политических конструкций – отсюда вытекает и его критика Л. Андреева и положительное отношение к М. Горькому, Н. С. Лескову, А. П. Чехову, т. е. к тем, кто обладал скорее природным талантом (самоучки) и более мягким отношением к жизни, кто становился скорее слугой реальности, хорошим наблюдателем, чем демиургом, конструктором. Следовательно, Л. Толстой ему нравится как хороший наблюдатель, гениальный художник, а не как мыслитель, который твердо настаивает на своих идеях, тем более, что они не соответствуют, по мнению Врзала, подлинному христианству. Из этого вытекает отрицательная критика *Воскресения*.³⁰ В подобном духе звучат и мнения в комментариях к послесловию Толстого к *Крейцеровой сонате* другого католического автора.³¹

В год смерти писателя в периферийном моравском журнале в городе Оломоуц было опубликовано маленькое анонимное известие о кончине Л. Толстого. Кроме неизбежной фактографии в связи со смертью на станции Астапово встречается здесь и мнение, которое как-то концентрирует более общий взгляд на значение Толстого для других славян, а именно западных: по мнению автора заметки Толстой (кроме, разумеется, его учительства по отношению к человечеству)³² показывает западным славянам путь к восточной культурной альтернативе Западу, хотя и здесь присутствует сомнение: могут ли вообще западные

²⁹ „Přes to, že literatura v Rusku od počátku světové války nemůže se vykázáti pracemi, které by se uměleckou cenou rovnaly proudům starší literatury ruské nebo dílům osvědčených spisovatelů ruských v emigraci, přece nová literatura ruská se nezrodí v cizině, kde spisovatelé sice chrání díla i tradici minulosti pro budoucnost, ale nežijíce bezprotředně s nynějším Ruskem, nedovedou zachytiti ducha současného života, nýbrž se zrodí v Rusku, kde umělci sice nevelcí jsou ve svazku s konkrétním porevolučním životem nového Ruska, s novou náladou vlastního národu a přicházejí poznenáhlu k poznání, že při rozvoji nové literatury nezbytno navázat na dobré tradice umění předválečného, symbolismu i reakce proti němu.“ (A. Vrzal: Ruská literatura v XX. století. Otisk z Přehledných dějin nové literatury ruské a z Hlídky. Brno 1926, 4, ř. 279).

³⁰ „V Nechljudovu vidíme podivuhodnou směs probuzeného svědomí a zděděných nízkých pudů, vysokých idealův a úplné neschopnosti provésti je v životě. Neustále rozumuje, s výše své theorie přísně kritisuje obklopující ho lidi a pořádky, ale sám ničeho nedělá. Je samý odpor: každý soud i žalář pokládá za neužitečný i nemravný, popírá, že by lidi měli právo trestat jiné, a zatím zastává se tělesných trestův i trestu smrti [...] Je to tedy typ, který ruská literatura již často zpracovala. Tolstoj zbarvil jej svým učením, což právě se nám nelíbí [...] Dojem, jaký činí krásné umělecké obrazy romanu, kazí se velice výstředky tolstovského učení: umělci škodí myslitel.“ (A. Vrzal: Ruská literatura v roce 1899. Hlídky, XVII, 1900, 8, c. 455-456.).

³¹ P. J. Vychodil, Hlídky literární, VII, 1890, 11, c. 420-421.

³² „Není účelem těchto řádků význam gigantického toho ducha, k jehož opravdovému pochopení snad ani přítomná generace nestačí, vyložiti, jen chceme posmrtnou poctu vzdáti muži, jenž zasvětil život svůj myšlenkám demokratickým a lásce, jenž řečí lásky chtěl naučiti rozvášněné dnes lidstvo, chtěl láskou přivoditi vzkříšení lidské společnosti. Tolstoj ukázal však též nám západním Slovanům cestu k východní kultuře, ke kultuře tak rozdílné od kultury západní a pro nás tak důležité, jen naučíme-li se chodit tou cestou, když tak přivykli jsme cestám kultury západní.“

славяне, привыкшие к западному пути, пойти по восточной дороге?

„Человеком стремлений“ называет его автор некролога, опубликованного в педагогическом журнале.³³

Славист и в особенности сорабист А. Черны (1864-1952) в своем некрологе подчеркивает связь Толстого с религией и с традицией П. Хельчицкого и чешских братьев.³⁴

Довольно сильный поток мнений представляет славофильское толкование Толстого и толстовства. Так можно охарактеризовать статью В. Харвата *Толстой и славяне*, хотя известно, что взгляды Толстого на исключительную, даже мессианскую миссию славян были неясные и изменчивые.³⁵

Смерть Толстого вызвала актуальные отзывы, но также и синтетические работы (продолжающие прокомментированные выше взгляды), которые с разных точек зрения трактовали личность писателя. Особая реакция представлена женским движением, бывшем в начале 20 века уже достаточно сильным и влиятельным. Упомянем три небольшие статьи. В редакционной вводной статье (editorial) в журнале *Женское Ревю* подчеркивается его значение для отношения обоих полов в смысле женского достоинства и эмансипации.³⁶ В самостоятельной, можно даже сказать, программной статье Веры Вашовой (Брно) *Конец Толстого* автор полемизирует с мнением жены графа Софии Андреевны Толстой-Берс о том, что Толстому не следовало покидать семью – призывает женщин устремиться от материальной практики к духовным высотам.³⁷ Недаром приведенная нами цитата кончается солярным символом, т. е. эмблемой ницшеанской философии (см. у Г. Ибсена и даже в „Санине“ А. Арцыбашева) и недаром именно Ницше зачастую будто бы парадоксально сопоставляется с Толстым и его философией. Год спустя тема Толстого и его воздействия – в положительном смысле – на женскую эмансипацию снова подчеркивается.³⁸

Смерть Толстого стала стимулом для написания ключевых статей представителями чешской философии, литературной критики и славистики. Известный славист и историк славянских литератур Ян Махал – как в прошлом и другие – отстаивает мнение, что, хотя взгляды Толстого на общество, религию и искусство зачастую провокационны и для многих неприемлемы, они дают шанс снова осмыслить то, что считалось аксиоматичным, –

³³ Н.: L. N. Tolstoj mrtev. *Pedagogické rozhledy*, XXIV, 1910-1911, 8, n. 335.

³⁴ A. Černý: *Za Lvem Nikolajevičem Tolstým*. *Slovanský přehled*, XIII, 1910-1911, 3, n. 100-103.

³⁵ V. Charvát: *Tolstoj a Slované*. *Slovanský přehled*, XIII, 1910-1911, c 104-108.

³⁶ *Tolstoj*. 28./8. 1828 – 20./11. 1910. *Ženská Revue*, roč. V., listopad 1910, c. 215.

³⁷ „Ne snad haněti domácí píli, snahu po úhlednosti a hmotném blahobytu rodiny, je účelem těchto řádků, ale vésti ženy nad to, od těla k duši, od hmoty k světlu. Jen tak vyhnou se omylu tak velkému, jako byl omyl hraběnky Tolsté. Dělejme svou denní práci a svou hmotnou povinnost, ale zachovejme si při tom duševní svobodu, nedejme se k těm věcem tak připoutati, abychom se staly jejich otroky. Jen pak se zaroseným zrakem a s vroucím citem pochopení budeme se dívatí na postavu jasnopoljanského starce, odcházející – k slunci“ (V. Vášová: *Konec Tolstého*. *Ženská Revue*, roč. V., listopad 1910, c. 243.).

³⁸ O. S.: L. N. Tolstoj. *Ženská Revue*, VI, 1911, c. 6-9.

например, и пьесы Шекспира и современную литературу (la littérature moderne)³⁹. Махал в том же году еще раз возвращается к личности Толстого в фундаментальной статье из 8 частей, – первом чешском комплексном, более или менее литературоведческом анализе творчества писателя. Он пишет со знанием дела, русских источников, корреспонденции, биографических деталей, структуры его крупных романов и его философии. Согласно его взглядам, Толстой стремился к гармонии в жизни и в искусстве, парадоксальным образом так никогда ее и не достигнув. Его творчество рассматривается Махалом как одно целое, т. е. литературовед не противопоставляет искусство философии, эстетику – этике, как это зачастую делалось и частично делается до сих пор.⁴⁰ Тому свидетельствует и тот факт, что он ищет взгляды Толстого на искусство, общество и религию не только в его трактатах и публицистике а, главным образом, в его художественных произведениях.

Критик Ф. Крейчи в своем некрологе подчеркивает визионерство, внутреннее религиозное значение Толстого как „строителя“ новых концепций общества, христианства в пантеистическом духе и непротивления злу насилем как значительной альтернативы преобладающим материалистическим воззрениям.⁴¹ Связь роли поэта, художника, писателя – и визионера, философа, пророка Ф. Крейчи показывает в статье, где называет Толстого одним из вождей времени.⁴²

„Религиозным гением“ считает Толстого философ Франтишек Дртина (1861-1925, который в фундаментальной статье, основанной на ссылках на художественное творчество писателя, считает главной идеей Толстого объединяющую роль религии.⁴³ Ф. Дртина возвращался к Толстому не раз; в одной статье он анализировал жизненные взгляды писателя⁴⁴, сближая его с Хельчицким, что характерно почти для всех чехов, и со старцем Зосимой из „Братьев Карамазовых“. В несколько патетической статье он пишет о Толстом как об апостоле человечности и мира вне церковной и светской власти, барьеры которых он преодолел посредством искусства.

Специфическим отзывом в год смерти писателя является статья Алоиса Списара о генезисе религиозной жизни Толстого,⁴⁵ которая характеризуется большей мерой трезвости

³⁹ J. Máchal: L. N. Tolstého drama spisovatelské. Lumír, XXXIX, 1910-1911, c. 162-168, 216-219.

⁴⁰ J. Máchal: L. N. Tolstoj. Česká revue, V, 1910, c. 130-141, 230-236, 278-289, 348-356, 396-406.

⁴¹ F. Krejčí: Za Lvem N. Tolstojem. Česká mysl, XII, 1911, c. 1-17.

„Estetická a zároveň etická rozkoš ze slohově důsledného zakončení života největšího hledatele boha v naší době. Tato smrt v samovolné opuštěnosti, v nejzřetelnějším odvrácení ode vši ničemnosti tohoto světa s jeho náramně si domýšlející politikou, s jeho církevní maškarádou, ubohými zájmy peněžními, luksem a přeceňováním svazků rodinných, tato poustevnická smrt vtiskuje pečeť ryzosti na tento život tak nekonečně bohatý“ (F. Krejčí: Za Lvem N. Tolstojem. Česká mysl, XII, 1911, c. 16).

⁴² F. Krejčí: Vůdcové doby. Novina, IV, 1910-1911, c. 166-169, 193-198.

⁴³ F. Drtina: L. N. Tolstoj, náboženský genius. Novina, V, 1911-1912, c. 387-392 (речь по случаю годовщины смерти Толстого).

⁴⁴ F. Drtina: Životní názor L. N. Tolstého. Naše doba, XVIII, 1910-1911, 2. c. 84-94.

⁴⁵ A. Spisar: Hr. Lev Nik. Tolstoj. Genese jeho náboženského života. Osvěta, XL, 1910, 1-16, c. 119-130, 177-188,

и концентрации, чем статьи Ф. Дртины. Свою работу Списар продолжает в объемной статье о философских и религиозно-нравственных взглядах Толстого в третьем периоде его жизни.⁴⁶

Смерть Толстого отобразилась и в некоторых реакциях нового поколения критиков и писателей. В своем некрологе Ф. Кс. Шальда сравнивает конструирование персонажей у Толстого и Достоевского и отдает предпочтение Достоевскому – его герои, хотя они зачастую убийцы, сумасшедшие и бунтари, в своей внутренней жизни безопаснее, спокойнее персонажей Толстого, которые все время колеблются.⁴⁷

Будущая салонная коммунистка, писательница Мария Майерова в своей статье о Толстом ищет в его творчестве скорее неконформистские идеи, тонко показывая странную религию Толстого, которая на самом деле является персональной, индивидуальной „религией“ внутренней жизни. Любовь к физическому труду, к ежедневному материальному быту и отрицание общественного строя, сближающее Толстого с анархизмом, стояло, думается, близко к радикально настроенной писательнице. Можно согласиться и с тем, что именно посмертно опубликованный рассказ „Хаджи Мурат“ является свидетельством того, что к концу жизни, когда, по мнению автора, Толстой занимался скорее самим собой, художник победил в нем моралиста.⁴⁸

Разумеется, существует много других чешских отзывов и аналитических статей о Толстом в год его смерти и некоторое число – после.⁴⁹ Важно, однако, то, что именно в упомянутых критических высказываниях, как в капле воды, сосредоточивается все существенное, доминантное в чешском восприятии творчества Толстого и что сконцентрировалось в некрологах и статьях, посвященных памяти писателя. Толстой перешагнул сферу искусства и художественной литературы и считался скорее мыслителем, так что некоторые авторы обзорных статей забывали о нем как о художнике. С этим аспектом связан и образ Толстого как славянина и вообще славянский вопрос, что звучит немного фальшиво, неправдиво. Тем не менее, Толстой стал в глазах чехов представителем России и Востока как альтернативы, которая прямолинейно неприемлема, однако функционирует как критическое зеркало концепций европейского Запада. Кроме того, в некоторых статьях искусство Толстого как пример уровня мировой литературы становится орудием критики художественного уровня чешской литературы.

289-294.

⁴⁶ A. Spisar: Hr. Lev Nikolajevič Tolstoj. Filosofické a nábožensko-mravní názory v třetím období jeho života. Osvěta, XLI, 1911, c. 28-33, 90-98, 167-174, 241-248, 321-324, 485-490.

⁴⁷ Novina, IV, n. 1910-11, c. 93-94.

⁴⁸ M. Majerová: Literární odkaz Lva Tolstého. Čas (Hlídka Času), 4. 11. 1912, c. 5-6.

⁴⁹ F. F.: Lev Nikolajevič Tolstoj. Několik myšlenek. Studentská hlídka. List katolického studentstva československého, III, leden 1911, 5, n. 97-104. F. Pražák: Tolstého poměr k dítěti. Čas (Hlídka času), 18. 3. 1911, c. 8.

Чешское отношение к русским делам вообще эмблематически сконцентрировано в восприятии Толстого – именно посмертном, синтетизирующем, именно пресловутая чешско-русская *Nařliebe*, любовь-ненависть, *odi et amo* римского поэта, притягивание и одновременно отталкивание, что видно и на примере более современных чехов 20 века, в том числе К. Чапека и В. Черного.⁵⁰

Примечательно то, что двойная чешско-моравская проекция рефлексии наследия Толстого в чешской среде, хотя и не выразительна количественно, тем не менее все же сохранилась и в период сразу после его смерти. В чешской среде, даже у представителей модернизма, преобладает понимание Толстого как мыслителя – может быть, за исключением некоторых суждений Ф. Кс. Шальды, в то время как у католической моравской критики сохраняется, будто бы парадоксально, резкая критика Толстого-мыслителя в противовес положительной оценке Толстого-художника. Эта дихотомия, которая теперь в литературоведении скорее отрицается, подчеркивает и эстетически мягкую «доктрину» моравских католиков, делающих акцент на связи писателя с окружающей средой, на способности вчувствоваться и разделить судьбу беспомощного, маленького человека в современном мире. Может быть, это слишком мало в эстетическом отношении, но эта позиция, тяготеющая скорее к микромиру, к приватной жизни и к внутреннему переживанию, а также к индивидуальному языку как особому оплоту, заслуживает внимания.⁵¹ Врзал в своих отрицаниях Толстого-мыслителя показал с необыкновенной

⁵⁰ См. наши статьи: *Jedna řesko-ruská literární spirála (Dostojevskij - řapek - řendrakov)*. *řs. rusistika* 1990, 5, s. 257-265. Два полюса бытия: англо-американский эмпиризм-прагматизм и „русская тема“ у Карела Чапека. In: *Związki między literaturami narodów řlowiańskich w XIX i XX wieku*. Pod redakcją Witolda Kowalczyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, s. 225-233. Karel řapek – przypadek prawie zapomnianego mistrza człowieczeństwa i tolerancji. In: *Dyskursy i przestrzenie (nie)TOLERANCJI*. Pod redakcją Grzegorza Gazdy, Ireny Hübner, Jarosława Pluciennika. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 109-118. Václav řerný a ruská literatura. *Slavia* 1994, seř. 3, s. 331-337. См также: I. Pospíšil: *Genologie a proměny literatury*. Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta, Brno 1998.

⁵¹ A. Vrzal: *Hrabě Lev Nik. Tolstoj (narozen 28. srpna 1828, ř†7. listopadu 1910)*. *Hlídka*, XXVIII, 1911, 1-2, s. 25-29, 81-80. Врзал здесь к Толстому наиболее критичен: „Od té doby, co Tolstoj pořal se věnovati propracování své mravní soustavy a schvaluje jen umění řisté didaktické ve stati o Umění, nenapsala řádného pozoruhodnějšiho díla uměleckého, které by se mohlo postavit po bok jeho velikým romanům.“ (с. 86). Кроме осуждения толстовского радикализма с позиций католического христианства Врзал тонко подметил и модность Толстого в прессе и в среде общественной «верхушки», т. е. то, чем теперь характеризуется восприятие литературы в начале века: „Tmavými, zhuřtěnými barvami Tolstoj maluje nynějši společenské a státni řízení, odsuzuje války, soudnictví, s fanatickou rozhořčeností zavrhuje obřady církevní, mři sv., kde upadá přímo v rouhání. Podrobným, naturalisticky věrným popisem hampejzů, oplzlými popisy nemravnosti ilustruje své mravní učení, řtěje takto poučovati a napravovati [...] vůbec Tolstoj poslední dobou úplně se zřekl řistého umění, pro něž 1859 horoval, stal se ‚moralistou‘, říkře vystoupil proti státu i církvi pravoslavné, která jej konečně pro jeho učení vyobcovala, a státni vláda, která řísíce Rusů řalářovala i vypovídala na Sibiř, Tolstého, tohoto nihilistu, atheistu i anarchistu, jenž mnohem více prořřel se proti státu a společnosti, než kterýkoliv politický odsouzenec, nechávala na pokoji jenom ze studu před Evropou a Ruskem samým. Neboť odborné snahy jeho odpovídaly tak řádně revolučním náladám doby, zvláště vrstev nevázaných a nekázaných - ‚silné‘ pak kresby z animálního života lidského dráždily a lákaly blaseované i ‚nejvyšši‘ obecenstvo, jež libovalo si, jak obyčejně, právě jen v tom, čím Tolstoj lichotil nízkým pudům, neřímajíc si dále toho, čím skutečně řtěl a mohl povznášeti. Ušlechtilé stránky působnosti jeho řijímány jen s jakousi pohrdlivou nonchalancí jako idealistické přemřštenosti velikého ducha, kdežto ony modní stránky bezuzdného, ač docela mělkého criticismu a hrubého naturalismu zjednaly mu nezaslouženou pověst

откровенностью и простотой сущность «игры в литературу» и стал в этом отношении настоящим пророком – именно для второй половины 20 и начала 21 веков. Он хотел плыть не по течению, а скорее против течения, как и его излюбленный Лесков (Фаресов⁵²), хотел показать, совсем в толстовском духе, короля голым, каким он, на самом деле, и был. Осталось только его искусство и, по крайней мере, его скепсис и плодотворные поиски и сомнения.

Толстовская инспирация заметна и в чешских полемиках конца 10-х и начала 20-х годов 20 века, связанных с новой послереволюционной советской Россией, в которых, с одной стороны, выступает сплошное отрицание всего русского как своего рода заблуждение, доказательством чего служит революционный хаос и утрата ценностных критериев и традиционной культуры, к чему, пожалуй, привела своим способом и литературная классика, в том числе и вечный бунтарь Лев Толстой; с другой, напротив, возвращение к классике считается возвращением к подлинным нравственным и эстетическим ценностям, от которых революционная Россия якобы ушла.⁵³

Какова актуальность чешских – а может быть, и иных – реакций на Льва Толстого и его кончину? Наверное, бунтарь Толстой коснулся ядра сущности европейской цивилизации, его тупикового характера откровенными и подспудными ссылками на другие традиции, в том числе азиатские, например, на буддизм, ища здесь не фундаментализм, а безбрежную толерантность, ища общие места и то, что свойственно всем людям и вероисповеданиям вообще, в чем они похожи друг на друга. Именно в мире, переживающем кризис института брака, ощущающем необходимость полного переосмысления половых связей, мужской и женской роли в обществе и функций традиционного национального государства и демократических институций, в мире, находящемся в конфликте культур, религий, традиций и цивилизаций, толстовские идеи могут, к сожалению, прозвучать знакомыми тонами.

hlbokého mysliteľa, ba proroka. A s modou silno počítá se bohužel nejen v tretách, nýbrž i v otázkách najvážnejších.“ (с. 88).

52 А. И. Фаресов: Против течения. Санкт-Петербург 1904.

53 См. I. Pospíšil: Jiří Polívka, revoluční Rusko a ti druzí: spor kolem ex oriente lux (In margine jednoho Polívkova článku). In: Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúr a folklóru I., eds: Hana Hlôšková, Anna Zelenková. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Česká asociace slavistů, Ústav etnológie SAV, Slavistická spoločnosť Franka Wollmana v Brne, Bratislava – Brno 2008, с. 27-42. Речь идет о полемике между известным чешским поэтом-авангардистом-футуристом-анархистом-коммунистом С. К. Нейманом, выступающим под псевдонимом Civis Bohemicus, т. е. Чешский гражданин, и славистом, фольклористом, учеником А. Н. Веселовского Й. Поливкой. См.: Civis Bohemicus: Rusko a lux ex oriente. Červen, rok 1, č. 15, 3. října 1918, с. 203-205; Jiří Polívka: Rusko a lux ex oriente. Polemická stať. Česká revue, 1919, březien, č. 6, s. 321-135; duben, č. 7, с. 377-384; květen, 8, с. 433-443; červen, 9, с. 489-504; červenec-srpen, 10, с. 545-553. Дело немного парадоксально, но по-своему логично: Нейман против восточной анархии, к которой привела своим подспудным революционерством русская классика, Поливка отстаивает восточную, т. е. русскую литературу как ценность, указывая, по праву, что большевизм – скорее плод западного мышления.

